

Как я стал писателем

Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно.

Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только — писателем «без печати».

Помнится, нянька, бывало, говорила:

— И с чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего... как только язык у тебя не устает, балаболка!..

Живы во мне донине картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка, с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком... Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке, у образка, — зеленой такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом кровки от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой... Боженька в уголке, с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «Деворадуйся»... Обрывок няниной песенки —

Туру-ногу пишет,
На золотом блюде,
Селебреном стуле,
Яво жена Марья
Сына породила,
Царя Кистинки-на...

И страх и радость. Черная кочерга у печки — бабы-яги нога. Постоит — да вдруг и поведет по полу со звоном.

Сидит баба-да-яга,
У ей костяна нога,
У ей ращены рога,
Железная пятка,
А ж..а-то мягка...
Пошел котик во лясок,
Нашел котик поясок...

Я говорил с игрушками — живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли «лесом», — чем-то чудесно-страшным, в котором «волки». Что это — «лес»? Не знаю. А — «волки»... Страшное.

Он зубами — ляс-ляс,
А хвостищем — тряс-тряс...

А «лес»... —

Во Ягоровом лясу
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки пляла...
Петушки, ня пойте,
Во-лки, ня войте,
Дите успокойте...

Но и «волки» и «лес» — чудесные. Они у меня — мои.

Я говорил с белыми звонкими досками, — горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные «звери», пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим.

Живая была метла, — бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу — «наказана». Я утешал ее, гладил ее волосики.

Все казалось живым, все мне рассказывало сказки, — о, какие чудесные! Буравчик, похожий на червячка, был добрый: он высверливал дырки-глазки, чтобы доски могли глядеть. И они глядели, и я через них глядел, в светлую дырочку, на небо.

— А ты гляди, покажу-то тебе что... — говорит мне плотник и ставит тонкую доску, с сучочками. — На сучочки-то погляди, на солнышко! Кровь-то у ней как ходит! Кровь-смола в ней, красная-то какая, как вишенка...

Я смотрю на сучочки, и светится все, как кровь. Живые доски!.. Все напевало песни: и белые бревна, в капельках — в горьких слезках, и тоненькие стружки, падавшие с досок колечками, и звонкие зубчики пилы. Песни-то распевали плотники, — всякий знает, — а мне казалось, — и так хотелось! — что это поет рубанок. Рубанок имел язык, синенький язычок из щелки, лизавший доски, гладивший их до лоска. Гладил — и пел, и пел.

А что говорить о саде, где глухие углы, сырые, заросшие лопухами и крапивой, казались страной чудесной. Там у меня был «лес», в котором водились «волки», — белые чурбачки. Бывало, лежишь под лопушками, под крапивой. Через них — светло, зелено, если глядеть на небо. Зелень такая сочная, живая. И на этом «небе», на этом живом небе, плавает большая птица, с желтыми крыльями — залетевшая бабочка. И еще птички, красные: мелкие бабочки в крапиве. И неотрывно смотришь, как царапается-ползет тяжелая, похожая на ягодку-рябинку, поменьше только, божья коровка — для меня настоящая коровка, ползет по «небу». А «волки», белые чурбачки, пасутся. И вот помню испуг и счастье: пришла коса! Добрый, лохматый плотник встал надо мной, над «лесом»...

— А ну-ка, выбирайся... а то порежу, острая у меня коса! — страшно сказал он мне, взмахивая косой над «небом».

Я закричал, заплакал. А он показал мне зубы и поманил:

— А ты гляди-ка, какая штука!

И достал из кармана дудочку — поиграть. Но я не умел играть. Дудочка была белая, в кружочках, в дырочках. Он повертел ее, заиграл пальцами по дыркам, и дудочка запела. Плотник присел ко мне и играл долго-долго. И пел знакомую песенку, которую пел и я:

Ды-я поеду на родину,
На родине дуб стоит,
На дубу сова сидит,
Сова-то мне те-о-ща,
Воробушек шу-у-рин,
Глазыньки прищу-у-рил...

— Валяй и ты про сову, — сказал он ласково и дал мне дудочку поиграть, — валяй дуй!

Я стал дуть в дудочку, но она не хотела петь, только сипела-плакала, — капало из нее на травку. А плотник звенел косой. Падали лопушки, крапива — мои «леса», звякало в них косою: зык-дзык... зык-дзык... Смерть им пришла — я знал. Смерть — очень страшное. Это я видел на картинке, у плотников, на стенке: смерть, из костей, с косой. Когда плотник устал косить, я сказал:

— Это ты у смерти взял косу?

Он вдруг посмотрел на меня страшными глазами, замахнулся косой на небо и зарычал:

— Я теперь сам смерррть!..

Это был первый ужас. Я заметался с криком. Меня унесли из сада.

Дудочка и коса... и смерть! Я помню: и страх и радость.

Помню я «переменки» в пансионе и старенькое лицо учительницы, Анны Димитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни ученья! Я думал: оборотень она! За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно:

— Мед-муазель!..

Иногда вскрикивала строго — будто понятное — «сортир», но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень» — я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещеный человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить если, она опрокинется! Я незаметно крестил ее и шептал: «А ну, опрокинься!» Но она оставалась все такая. Потом я понял, что это — «столпотворение вавилонское». Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки. И я подумал, что и Анна Димитриевна строила большую башню и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно — «столпотворение вавилонское», и сколько у ней языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у ней был только один язык.

— Скоро и у тебя будет «столпотворение», — сказала она смеясь, — будешь учить Марго и, конечно, плакать.

Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела «долбить Марго». Девочка плакала над книжкой и все долбила:

«Сеньор-бенил-увраж... Сеньор-бенил-увраж...»

Мне стало неприятно: если и мне так будет. Скоро я узнал многое.

Аничка Дьячкова, самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула:

— Пойдем, я научу тебя танцевать, хочешь?

Она завертела меня по залу, под музыку рояля, топала и кричала весело:

— И-раз-два-три... и-раз-два-три!.. и-раз-два-три... и-раз-два-три!..

Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам:

Рэгарде-машер-сестрица,
Кельжоли-идет-гарсон,
Сэтасе — богу-молиться,
Нам-пора-алямэзон!

— А, хорошее «столпотворение»? — спросила она меня, целуя.

— Хорошее... — сказал я, слыша, как пахнет карамелькой, — пропой еще!

Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор, на уроке танцев, я с замиранием ждал, когда Аничка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится в прюнелевых башмачках на тонких ножках, сделает мне так ручкой и присядет. Коричневое ее платье так и надуется и разъедется по полу, как веер, и мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо. И мы вертимся-вертимся... пока Анна Дмитриевна не крикнет от рояля:

— Анэт, вы его совсем, бедненького, завертели, сэтасе!

А мне хоть бы без конца вертеться. Но только с Аничкой.

У ней были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все страшал: «Барин-барин, отдай стариковы жернова!» — и как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, а петушок высунул из барины головку и закричал опять: «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» — и как барин велел голову петуху рубить, а петух-то и уюкнул назад, а слуги и отрубили барину... Тут я не мог сказать. Она не отставала и все допытывалась:

— Скажи, чего барину отрубили? Дам еще конфетку!

Я сказал, что говорят это плотники, а я не могу сказать. Тогда она научила еще стишкам и повела меня на другой сундук, под шубы:

Пуговицы-вицы-вицы,
Лебутон-тон-тон,

Баринина-нина-нина,
Лемутон-тон-тон!

И все-таки я не мог сказать. Тогда она еще научила:

Кескевуфет?
Пошла кошка в буфет,
Нашла фент конфет,
Донмуа! Ах, нет!..

Тут она развернула карамельку, взяла ее в зубы и стала меня дразнить:

— Скажи, чего барину отрубили... тогда дам! Не скажешь, не дам! — И ущипнула меня за носик, и очень больно. Но и тут я не смог сказать. Тогда она мне сказала, что она и без меня знает, чего барину отрубили. Я начал спорить:

— А вот не знаешь, не зна-ешь!

Но она так щипнула меня за мягкое, что я вырвался от нее и крикнул, как у нас плотники:

— Лешая голова!

Нас застала Анна Димитриевна и долго бранила Аничку. С тех пор Аничка меня не трогала, и я очень по ней скучал. Кажется, и она скучала. Пройдет мимо меня, сунет карамельку в губы, рот мне погладит будто и ничего не скажет.

Но уже многие стали приставать, чтобы я рассказал сказочку. Сказочек я знал много, от наших плотников. Бывало, меня обступят, — и все старшие девочки, — сажают на колени и слушают, дают даже и шоколадные конфетки. Я жую и рассказываю, будто сам себе. И вдруг через головы нагнется... Анна Димитриевна! И скажет:

— И чего ты болтаешь все! Ну-ну, рассказывай...

Мне делается стыдно. Разве можно при ней рассказывать, как поп на своем работнике катался и как ругался! Или — как попадья сметану воровала, а сама на Миколу-угодника сваливала?! Или вот про пилу, которую плотники наши заставляют пилить доски, а доски плачут и роняют опилки- слезки, и даже пила плачет! Она засмеется и пристыдит:

— Ну, как ты... такие глупости!

А сама любит слушать. И сколько раз бывало, — взглянет на свои золотые часики на цепочке до живота и вскрикнет:

— Мед-муазель... кляс! кляс!

Много у меня было о чем рассказывать. Народ на нашем большом дворе менялся, как менялся народ на улице: приходили и уходили плотники, столяры, маляры, штукатуры, кровельщики, конопатчики, кузнецы, колесники, кирпичники, глиномялы, землекопы, плотогоны, лесовалы, свайщики, парильщики, банщики, водоливы, барочники, ездоки, всяких дел и ремесел люди. Приходили они со всюду, со всех губерний округ Москвы, со своими рассказами и песнями, с радостями и горем, каждый — со своим говором. Много я послушал, от первых дней. Многое мне запало в душу.

Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии — «римский оратор», — и кличка эта держалась долго. В бальниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».

Это был, так сказать, дописьменный век истории моего писательства. За ним вскоре пришел и «письменный».

В третьем, кажется, классе я увлекся романами Жюль Верна и написал — длинное и в стихах! — путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста «Бегемота». «Поэма» моя имела большой успех, читали ее даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, — 6-я моя гимназия! — благословляющего детей Спасителя, — и высокий, сухой Баталин, с рыжими бакенбардами, трясет над моей стриженной головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем, и говорит сквозь зубы — ну прямо цедит! — ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, — как самый холодный англичанин:

— И ссто-с такое... и сс... таких лет, и сс... так неуважительно отзываеесса, сс... так пренебрежительно о сстарссых... о наставниках, об учителях... нашего посстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позволяес себе называть... Мартысской!.. По решению педагогического совета...

Гонорар за эту «поэму» я получил высокий — на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.

Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвел я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя

как-то приплел... Надсона! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъема, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, «как в небе», — и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:

Друг мой, брат мой... усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был — не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей..

Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:

— Ссто-с такое?! Напрасно сситаєте книзки, не вклюденные в усенисескую библиотеку! У нас есть Пушкин, Лермонтов, Державин... но никакого вашего Надсона... нет! Сто такой и кто такой... На-дсон. Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану... а вы приводите ни к селу ни к городу какого-то «страдающего брата»... какие-то вздорные стихи! Было бы на четверку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»... с в

на конце! — «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит — свиное сало! И никакого отношения он, как и ваш Надсон, — он говорил, ударяя на первый слог, — ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.

Я взял тетрадку и попробовал отстоять свое:

— Но это, Николай Иванович... тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например?

Николай Иванович потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне все похолодело. Все мы знали, что это — его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.

— Ах, во-от вы ка-ак... Гоголь!.. или, может быть, гоголь- моголь? Во-от как... — и опять страшно потянул носом. — Дайте сюда тетрадку...

Он перечеркнул три с минусом и нанес сокрушительный удар — колом! Я получил кол и — оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона, и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний бал, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но все это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши, как хочешь!

И я записал ретиво, — «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, — «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... — было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла“» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством. Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный, —
певуче читал Цветаев, и мне казалось, что — для себя.

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный, —

Он ставил мне за «рассказы» пятерки с тремя иногда крестами, — такие жирные! — и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек:

— Вот что, муж-чи-на... — а некоторые судари пишут «муш-чи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкробов! — у тебя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... пом-ни!

С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его — я плакал. И до сего дня — он в сердце.

И вот — третий период, уже «печатный».

От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешел незаметно к «собственному».

Случилось это, когда я кончал гимназию. Лето перед восьмым классом я провел на глухой речушке, на рыбной ловле. Попал на омут, у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспомнилась. Так меня восхитило запустенье, обрывы, бездонный омут, с «сомом», побитые грозой, расщепленные ветлы, глухой старик, — из «Князя Серебряного» мельник!.. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал... — что-то во мне забилося, заспешило, дышать

мешало. Мелькнуло что-то, неясное. И — прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и ученье было отложено.

Что-то —

не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием Назоном... — что-то опять явилось! Не Овидий ли натолкнул меня? не его ли «Метаморфозы» — чудо?

Я

увидал

мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда...

Живые,

— они пришли и

взяли.

Помню, — я отшвырнул все книги, задохнулся... и написал — за вечер — большой рассказ. Писал я «с маху». Правил и переписывал, — и правил. Переписывал отчетливо и крупно. Перечитал... — и почувствовал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябины — там.

Дрожащей рукой я вывел:

Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки первого моего рассказа:

«Шум воды становился все отчетливей и громче: очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой, густой осинник, и его серые стволы стеной стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чащей, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал неожиданные удары гибких веток...»

Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и «как это делается», — как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться; почему-то и стыдно было. Скажут еще: «Э, пустяками занимаешься!» Газет я еще не читал тогда, — «Московский листок» разве, но там было смешное только или про «Чуркина». Сказать по правде — я считал себя выше этого. «Нива» не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем:

«Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были — славянские? вспоминал-вспоминал... — и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть «Русская мысль», в Москве. С неделю я колебался: вспомню про «Русское обозрение» — так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы» — ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую — искать «Русское обозрение». Не сказал никому ни слова.

Помню, прямо с уроков, с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшем и пузырившемся к полам, — я его все донашивал, поджидая студенческого, чудесного! — в резиновых грязных ботиках, шагал я по «ботвинье», в мокром снегу навозном. День был весенний, солнечный, бойко текли канавки, дворники скидывали с крыш снег. Переписанная в тетрадку «рукопись» лежала в ранце. Помню, — иду и думаю: «И никто не знает, что я написал рассказ... и вот я его несусь, и его, может быть, напечатают, и тогда узнают». Что я стану писателем, что за этот рассказ что-нибудь мне заплатят, — совсем не думал. Просто не приходило в голову. А вот и вывесочка, нашел. Взглянул — и обмер: «Русское обозрение»! В этих словах, написанных церковно, буквами необычными, почувствовалось мне вдруг, мелькнуло, что-то в этом — важное для меня и страшное. Мелькнуло — и забылось, другим покрылось, сегодняшним, а ну как выгонят?..

Спросил, помню, извозчика, — где журнал? Извозчик не знал. И никто не знал. Какой-то студент долго глядел на вывеску, глядел в переулок и на небо. И он не знал. Я пошел наудачу в переулок. Попавшийся почтальон довел меня до крыльца и бросил: «Теперь найдете». Крыльцо с каменными ступеньками, дом унылый. В полутемных сенях пустынно. Я позвонился робко. Встретил меня швейцар: «Вам чего?» — чуть приоткрывши дверь. Он поглядел на мой ранец, на грязные боты, подумал: «Впускать или не впускать?» Так показалось мне. И решил, что впускать не стоит.

— Ну, давайте... — сказал он вяло, — сам отдам им.

Приходите через два месяца.

Тут же, в сенях, у двери, — я насилу мог справиться с волнением, отстегивая ранец, — достал я заветную синюю тетрадку. И меня охватило страхом: а вдруг обманет, не передаст?.. Я держался за синюю тетрадку, которую он тянул.

— А можно мне самому отдать... главному отдать?.. — спросил, попросил я робко.

Я забыл даже, что «главный»-то называется — редактор. Мы встретились глазами. Швейцар подморгнул мне хитро, совсем нестрого, — будто я ему нравился, — тронул за локоть, даже и сказал совсем ласково:

— Сами написали? Ну, хорошо... ладно! Сами
им
и отдадите!

Он отворил дверь пошире, впустил в высокую комнату и указал мне на желтенький диванчик: подождите. Потом приоткрыл огромную, под орех, дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало: крякнуло будто строго?.. Швейцар медленно шел ко мне.

— Пожалуйста... желают вас сами видеть.

Чудесный был швейцар, с усами, бравый! Я сорвался с диванчика и, как был, — в грязных, тяжелых ботиках, в шубе, с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, — все вдруг отяжелело! — вступил в святилище.

Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом, широкий, красивый, грузный и строгий — так показалось мне — господин, профессор, с седеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета, Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласковой:

— Ага, принесли рассказ?.. А в каком вы классе? Кончаете... Ну, что же... поглядим. Многонько написали... — взвесил он на руке тетрадку. — Ну, зайдите месяца через два...

Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо «заглянуть месяца через два». Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило — не писанье. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять: «Месяца через два зайдите».

Уже в новом марте я получил неожиданно конверт — «Русское обозрение» — тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня «зайти переговорить». Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь.

— Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите еще.

Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем.

В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой — ? — обложке, — «Русское обозрение», июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, — все прыгало. Вот оно: «У мельницы», — самое то, мое

! Двадцать с чем-то страниц — и, кажется, ни одной поправки! ни пропуска! Радость? Не помню, нет... Как-то меня пришибло... поразило? Не верилось.

Счастлив я был — дня два. И — забыл. Новое приглашение редактора — «пожаловать». Я пошел, не зная, зачем я нужен.

— Вы довольны? — спросил красивый профессор, предлагая кресло. — Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим о-пытам. А вот и ваш гонорар... Первый? Ну, очень рад.

Он вручил мне ...во-семь-де-сят рублей! Это было великое богатство: за десять рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить слово.

— Вы любите Тургенева? Чувствуется у вас несомненное влияние «Записок охотника», но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?

Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала: только «июль» и видел.

— Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?..

— Нет, не пришлось еще, — проговорил я робко.

Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, — пожал плечами. Это его, кажется, смутило.

—

Теперь

... — посмотрел он грустно и ласково на меня, — вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник... — Он стал говорить-говорить... — не помню уже подробности — что-то о «красоте», о Греции... — Он великий мыслитель наш, русский необычайный! — восторженно заявил он мне. — Видите — этот стол?.. Это его стол! — И он

благоговейно-нежно погладил стол, показавшийся мне чудесным. — О, какой светлый дар, какие песни пела его душа! — нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее:

Имел он песен дивный дар,
И голос, шуму вод подобный.

— И эта пальма — его!

Я посмотрел на пальму, и она показалась особенно чудесной.

— Искусство, — продолжал говорить редактор, — прежде всего, благо-говение! Искусство... ис-кус! Искусство — молитвенная песнь. Основа его — религия. Это всегда, у всех. У нас — Христово слово! «И Бог бе слово». И я рад, что вы начинаете в его доме... в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке... Ну-с, молодой писатель, до сви-да-ния. Желаю вам...

Я пожал его руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нем,
неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня.

Я ушел, опьяненный
новым,
чувствуя смутно, что за всем этим, моим, — случайным? — есть
что-то,
великое и священное, неизвестное мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся.

Шел я как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я — писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги!.. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство — благоговение, молитва... А во мне — ни-чего-то нет. Деньги, во-семьдесят рублей...

за это

!.. Долго сидел я так, в раздумье. И не с кем поговорить... У Каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так, бывало, перед экзаменом.

Дома я вынул деньги, пересчитал. Во-семьдесят рублей!.. Взглянул на свою фамилию под рассказом, — как будто и не моя! Было в ней что-то новое,
совсем другое. И я — другой? Я впервые тогда почувствовал, что — другой. Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал:

что-то я должен
сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... — готовиться. Я —
другой, другой.